

Глава 26. Тебе, как сыну.

Когда-то старик ему сказал: ожидал, что ты ко мне прибежишь советоваться. Не дождался и стал больше верить тебе.

Такой это старик.

Как ни нуждался Аласов сейчас в помощи, однако к Левину пошёл бы сейчас не с жалобами, — пошёл бы просто посидеть рядом, услышать хрипловатый, с одышкой, голос Всеволода Николаевича. Слишком смутно было на душе: фальшивые четвёрки Саввы-лентяя, скандальный педсовет, «дипломатия» Кубарова.

Всё знает деревенская молва, везде поспекает. Бывает, расскажешь что-нибудь интересное по пути домой, посидел, поговорил и пошёл дальше, а пришёл — твоя же байка тебя дома встречает, до неузнаваемости обросшая, с хвостом и гривой... Прослышала о его выступлении перед учителями мать: «Разве, сынок, можно так со старыми людьми, с воспитателями своими? За этим столом они сидели, как приехал...» И Майя его смутила немало: «Не советчица я, одно только знаю — страшно за тебя...»

Отплёвываясь, вспоминал Аласов свой визит к Кылбанову. Ох, как засуетился тот, увидев Аласова на пороге! Достал початую бутылку, подёргал себя за ухо:

«Закуски порядочной нет...»

«Спасибо за угощение, — ответил Аласов. — Только пить не буду».

«Воля ваша».

Но расточал улыбочки хозяин лишь до той минуты, как узнал о цели визита.

«Почему рост оценок по физике? Напрасны ваши намёки, дорогой друг. Мой метод: хорошо учу, вот и хорошие оценки. Я не ребёнок малый, понимаю, куда вы гнёте, уважаемый Сергей Эргисович. Однако что за дознание? Вы кто — завуч? Директор школы? Инспектор роно? — Схватил бутылку со стола, крепко заткнул её пробкой и унёс в буфет. И лишь после этого продолжал: — У меня нет желания отвечать на ваши вопросы. Знает мальчик Савва физику или не знает — я решаю сам. И запомните: в яму, которую роете, вы же первый и попадёте. Я вас предупредил!»

И ещё одна непростая встреча была в эти дни.

Давний ночной разговор с Кардашевским получил своё продолжение — будто тогда был задан вопрос, а сейчас явился ответ.

Они отправились в колхозное правление — учитель и его комсомольцы-добровольцы. После раздумий несколько человек отпали, но зато выявились другие, плюс-минус, всего к Кардашевскому отправилось двенадцать человек.

Обрадовался им председатель, добрый час просидел с ребятами, ударился в мечтания. Но кончил беседу так: требования ваши немалые, особенно насчёт фермы и техники. Нужно обсудить на правлении.

Аласов ему напомнил:

«А ведь не верили в добрый исход, а?»

«Не верил, расшиби меня гром! Готов просить прощения. Хо-ороший урок вы мне преподали, Сергей Эргисович».

Вот такие комплименты заработал Аласов от колхозного председателя.

Но не ради комплиментов Аласов задержался в правлении.

«Понимаете, дорогой Егор Егорович, какое тут дело... Учим детей колхозников. Коммунисты-педагоги объединены в колхозной парторганизации. Спрашивается: почему же колхоз так мало интересуется трудностями десятилетки? Вы, надо думать, уже слышали о трениях в коллективе педагогов?» — «Слышал, слышал кое-что, — согласился председатель; лицо его, недавно лучезарное, заметно поскучнело. — Сергей Эргисович, дорогой мой, да что мы — я или Бурцев — честно сказать, понимаем в вашей тонкой механике? Всё равно если бы мы медикам в нашей больничке взялись указывать да советовать».

Такой ещё был у Аласова разговор.

Левина ему недоставало сейчас, вот как недоставало!

И он, махнув рукой на запреты, пошёл к старику.

Они проговорили весь вечер, и всё, что сказал Левин, Сергей запомнил до словечка.

Старик говорил тяжело, иногда надолго умолкал, словно прислушиваясь.

«Да что ты, — говорил он, — до чёртиков рад видеть тебя. Самое удачное время — Акулины нет, лекари в бегах! Я уж и так попользовался безнадзорностью, на газеты накинулся. До того дошли — и газеты запрещают... Расскажи, как там на воле. Да поближе садись. Был на ферме, говоришь? И что народ толкует? Татыяс? Как же, как же, знаю её! О коммунизме? Ай, молодец! Слушай, это же нужно завтра доктору рассказать, она любит этакое... ха-ха... кха... Значит, так — фантазирует доярочка Татыяс, какой будет их ферма при коммунизме, всех упомянула, даже древней бабке Моотуос определила жить в бесклассовом обществе. А про фуражира Доропууна ни слова! Тот в панику: почему, дескать, его не пускают в эту изобильную жизнь? Татыяс же ему: коммунизму лентяи не нужны! Ай да девка... Агитация фактами... Самую суть, понимаешь, ухватила: коммунизм — это труд. А ты чего такой невесёлый? Так-таки и ничего? Ну, ладно, не хочешь о серьёзном, давай просто так поболтаем. Ты ведь никуда не спешишь?»

Это верно, ни жены, ни детей... И у тебя, молодого, и у меня, старого. А как-то жутковато звучит, не находишь? «Ни жены, ни детей...» Максим Горький говорил о сыне — «лучшее моё произведение». А, Сергей? Что скажешь в оправдание?

Учитель не бывает бездетным? Вот тут ты прав, учитель всегда с детьми... Какие бы неприятности откуда ни взялись, а мальчишки всегда выручают. Я за жизнь это десятки раз испытал,

Значит, хотят свою бригаду? А Кардашевский что? И это твёрдо обещает? Ах, черти, хорошо-то как!

Знаешь, в старости не о том жалеешь, что, мол, недопил чего-то, недоел. Жалеешь — вот хулигана посадили на два года за решётку, а он у меня когда-то учился. А то ещё хуже бывает.

Прошлым летом ездил в Якутск, встречаю бывшего ученика, лет пять назад он в нашем районе секретарил по комсомолу. Пошёл в гору, теперь начальник в центре, да немалый. Понятно, обрадовались мы встрече.

Был, конечно, принят у него дома, поговорили, всё как следует, прощаться пора. Говорит мой парень: погодите, Всеволод Николаевич, незачем вам на городском транспорте, есть у меня служебная машина.

Вызывает, садимся в авто.

Шофёр — пожилой человек, седина в усах. Мой парень как только откинулся на мягкую подушку, сразу будто его подменили. Это он свой начальничий облик принял. Кинул шофёру: «Пристань», — и ко мне с разговором. Однако, когда мимо рынка проезжали, вспомнил и про шофёра. «Отчего сегодня, — говорит, — ты подъехал с опозданием на пятнадцать минут? Жена нервничает, жалуется. Где был?» — «Заезжал в гараж. Ведь на базар Нина Прокопьевна...» — «Куда ехать и зачем, не твоего ума дело, ты знай своё, крути баранку. В следующий раз опоздаешь, сниму с машины, пеняй на себя».

Я слушаю всё это, и как-то нехорошо мне стало. Говорю парню: «Ну-ка, остановимся да выйдем, любезный!» — «Что вы, Всеволод Николаевич, до пристани ещё не доехали...» — «Выйдем!» — говорю. Я вышел, открыл дверцу шофёру: «Вы тоже, пожалуйста, выйдите. Как вас зовут и величают?» — «Алексей Васильевич...»

Стали мы втроём на тротуаре, парень мой глаза пялит, ничего не поймёт. Снял я шляпу, обращаясь к шофёру: «Ваш начальник — мой бывший воспитанник. А учитель всегда отвечает за своих учеников. Простите меня, Алексей Васильевич, что не смог я его выучить должным образом, что барина и грубияна воспитал...»

Такую потерю в жизни до конца дней помнишь. Дьявол его побери! Серёжа, голубчик, там, в углу, на маленьком столике: накапай в воду двадцать пять капель. Не бойся, ничего страшного. Если все мысли только в себе держать, ещё хуже будет. А я умирать прежде, чем смерть придёт, всё равно не намерен. Пока оно бьётся — дрожать не желаю. Не хочу перед ней канючить на коленях, как иные пенсионеры.

Ладно, Серёжа, давай кончать с байками. Я ведь хорошо понимаю, что у тебя внутри. Старик хвор-хвор, а видит... Знаю всё! И о выступлении твоём на педсовете — касательно процентомании. И даже как тебя Фёдор Баглаевич Кубаров попугал маленько — «от имени и по поручению». Откуда знаю? Хе-хе... Я ведь старый, Серёжа, а за долгие годы и на домового не штука выучиться. Впрочем, тут ломать голову нечего — был у меня Кубаров недавно, всё это я из него самого вытянул... Уж он от меня, старого своего дружка, ничего скрыть не может.

Так вот, Сергей Эргисович, теперь и ты ответь мне по всей правде и честности: что намерен делать? Не знаешь? Обнадёжил, Сергей Эргисович! Какого же чёрта, скажи, ты развёл речи на педсовете? Покрасоваться в роли правдолюбца, потыкать пальцем в больное место — не велика доблесть для партийца. Ах, оставь, пожалуйста, — волнуюсь! Отложить разговор до другого раза? Нет, брат. Что хочу сказать — скажу сейчас. Оставлять на завтра для моего возраста непозволительная роскошь. Ага, вон оно что! Да формулируй точнее, без всяких этих... Старые учителя оказались плохими руководителями, и вот ты закручинился: есть ли у тебя право поднять голос на тех, кого любишь. Верно я излагаю? Юморист ты великий! Петуха в суп отправлять собираются, а он в тот момент, хозяйку жалеючи, слёзы льёт. Душа у тебя, Серёжа, мягкая. Это, в общем-то, хорошо. У самого отчаянного из бойцов, каких я знал, у деда Каландаришвили, сердце было добрейшее. Объяснить такое можно... Между прочим, к вопросу о жалости. Вот Фёдор Баглаевич Кубаров, коль он в разговоре вспомнился, фигура исключительно выразительная. Симпатичный медведь с трубкой. Добр, старателен и прост, как дитя. Давеча приходит ко мне, прорвался сквозь мой этот... медицинский заградотряд. Начинает заячьи петли выделявать: здоровье, говорит, у него неважное. А я его петли уже на пороге понял — на простецкой физиономии всё написано. Говорю: «Смирно, Фёдор, слушай мою команду! Доложи по всей форме цель прихода». — «Освободить от преподавания, перевести на пенсию». — «Сам додумался или кто подстрекал?» — «Подстрекал». — «Кто именно?» — «Секретарь райкома товарищ Аржаков». — «Рассказывай подробно, как он подстрекал».

Вот такой он, Фёдор с трубкой. Что против его простоты возразишь? К тому же человек он порядочный, старательный, вся душа в деле. Ну, а если честно, если без христианства и слюней? Какой он директор школы, к чертям? Ещё куда ни шло — топливо завезти, добыть посуду для горячих завтраков, опять же печи дымят... Хороший человек, да не на своём месте. А ведь на этом месте мог бы сидеть действительно директор школы, а?

Гм, гм... Ты прости меня, Сергей, за нескромность, этот вопрос я давно должен был задать, Надежды Пестряковой касается. Известно, вы в юные годы... как это по-старинному сказать... Помолвлены были? А она от тебя — за Тимира Ивановича удрала. Нет ли камешка за пазухой? Понятно, Серёжа. Я так и думал. Иначе не могло быть. Не обижайся. А касательно школьных дел, конечно, можешь спросить: а сам-то? Ведь болезнь на твоих глазах, товарищ Левин, развивалась. Боролся ты с нею, поборол? А не поборол, то как можешь другим советовать — лезть в огонь?

Так сейчас думаешь, а, Серёжа? Не думаешь? Гм... Может, другому я таких советов и не стал бы давать. Больно уж ответственное дело — посылать человека в огонь... Но с тобой не то, что с другими. Ты как сын мне. С Сашей вы были товарищами, одноклассники почти. Ты сейчас пришёл ко мне, как, может, Саша пришёл бы к отцу. Саша!.. Вот видишь, даже заговариваться стал старик. Серёженька! Коммунист, офицер. Педагог Сергей Эргисович. Седина у тебя в голове уже... Хватит быть отроком в жизни! И в общественной, и в личной. За лучшее драться надо! За любовь свою, за мальчишек наших. Прости, что я так высокопарно, бывает, иначе не скажешь. Идти в огонь — только это и есть жизнь! Дай твою руку поддержать. Ничего, ничего... Не надо, ничего не говори. Посидим. Кино кончилось... Слышь, движок замолчал. Ну, иди, Серёженька. Хорошо, хорошо. Прощай... Приветы всем. Хорошо, хорошо... Будь здоров. И не робей».

Попрощавшись с Левиным, ушёл Сергей Аласов.

А я всё не могу поставить последнюю точку в этой главе. Словно не написал ещё какой-то последней фразы, последнего слова об этой встрече двух дорогих мне людей...

Когда-то, несколько лет назад, напечатал я рассказ об одной истинной истории, приключившейся в полярной тундре: замерзавшего в снегах тракториста спас старый охотник.

Вёл молодой парень свой трактор, из радиатора ушла вода, а тут пурга. Нет ничего страшнее — оказаться одному в тундре.

Но что такое тундра? Нет, это не один. Настоящая тундра — это всегда двое.

Старый Байбаас, положив парня на нарты, сам бежал рядом. Второй олень обессилел, тащил лишь головной. Тогда охотник, чтобы облегчить нарты, оставил

в снегу всю свою добычу — десяток песцовых связок. Правда, закопал их поглубже, примял ногами, но это лишь для облегчения души — волки всё равно унюхают, найдут и сожрут без остатка. Но об этом ли разговор, когда на нартах человек без сознания!

Остался один головной олень, — с натугой, но тянул. Старик толкал нарты сзади, и так — тридцать пять километров, по метели. На последние пять километров оленя не хватило — поранил ногу, стал пятнать след кровью. Всё виновато оглядывался на хозяина, умнейший «передчик» был. Делать нечего, старик сам впрягся в нарты.

Была ночь, когда на больничном дворе появились сани, запряжённые человеком. Снег на нём был как панцирь. Поселковые собаки бесновались вокруг нарт. Человек наткнулся на крыльцо как слепец. Выскочившие из больницы медики едва могли разобрать сказанное им: «Спасать надо...» Не понять, кого спасать прежде. Парень был молод, а охотнику Байбаасу шёл седьмой десяток...

Что такое Якутия? Это тайга, и горы, и океан, и мирные луговые долины, и полярная тундра. Она всякая, Якутия. Но законы полярной тундры, суровые и справедливые, почитаются в ней, пожалуй, строже всего и повсеместно. Тундрой здесь меряют человека, его душевную закалку. Оттого и родилось присловье: тундра — это двое.

Не так ли о самой жизни скажешь? В жизни невозможно одному, человек непременно опирается о плечо человека. Особенно когда ему трудно. Жизнь — это всегда двое.